

СВЕТЛАНА ЛЕОНТЬЕВА

16+



СИТЦЕВАЯ ФЛЕЙТА

СТИХОТВОРЕНИЯ

Светлана Геннадьевна Леонтьева

Ситцевая флейта

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=49826880

SelfPub; 2021

Аннотация

Новый цикл стихотворений – пронзительная мелодия любви к миру, людям, когда пальцы, словно на клавишах огромного вселенского фортепьяно – о, эти тонкие пальцы, эти лунные мелодии – и пусть музыка звучит в человеколюбивом повествовании.

Светлана Леонтьева

Ситцевая флейта

* * *

О, вы, рождённые в шестидесятых,
нам с вами основа одна и эпоха!
Вы помните ли октябратские клятвы:
«Отчизне служить до последнего вздоха!»
Клялись. Неужели все клятвы не вечны?
На школьной линейке, где солнышко в окна.
О, наши худые пернатые плечи
и детские тонкие шеи! И речи
волокна
вожатых, директора школы уральской.
А вы, что родились в тех шестидесятых,
неужто забыли, чему каждый клялся?
Чему присягал честно, звёздно, крылато?
Неужто забыли свои вы отряды,
и память в осколки разбили, в распады,
под слоём иного, простого, земного,
рубаха, мол, ближе своя, мол, мещанство,
и власть золотого тельца, что кондова.
Неужто мы станем тем самым уловом
для долларов, чуждого мира, для глянца?
О, как мы клялись! Дорастали до ликов.

Тянулись к вершинам. Мы – Богоязыки,
мы – Богоподобны. Мы – Божии дети!
Мы были тогда, мы росли сквозь столетья,
корнями тянулись сквозь землю, сквозь солнце,
корнями мы космос тогда пробивали
до самого Марса, до самого донца
в его изначалье!

О, наши Атлантовые разговоры!

О, рёбрышки под куполами одежды!

А нынче, где сердце, весь мир мой распорот,
а нынче, где правды, сквозят только бреши...

Как будто подпилены оси и стержни.

О, где же вы, где же

мои сопричастники, клятвоучастники?

Мои соплеменники и современники?

Мои соэпохники, шестидесятники,

мои виноградины вы и Царь-градники,
шабры, шукшинята, друзья и ботаники?

Я правду свою – эту первую правду
вовек не забуду. Предать не сумею.

За други свои! За отца и за брата!

И чем старше я, тем сплошнее, стальнее
на уровне песни, на боли набата
звучит моя клятва!

Пахну розовым яблочным праздником Спаса.
Мне сегодня родить. А рожать все бояться.
Век двадцатый. День – вторник. Смысл солнечно лёгок.
В девяносто шестом на дорогах нет пробок.
Но меня догоняет Чернобыль с Афганом,
разбомблённая Ливия за океаном.
Аномалии душат звериною хваткой,
разрывают меня коноплёвой взрывчаткой.
– Доктор, доктор, скажите! Живот мой огромный,
он для сына приют, колыбелька и дом он.
А ещё вспоминаю я тюркское племя.
Роженице всё можно. Когда не в себе я.
Когда, в околоплодных барахтаясь водах,
сын готов народиться.
Афган и Чернобыль
мне в затылок дыханье струят грозное.
Душно. Душно мне, мамочки! Я волчьи вою.
Говорят то, что тюрков в волках зачинали.
Я кричала, вопила про смесь аномалий
и про эту, про генную связь мифологий.
Доктор и акушерка держали мне ноги.
И родился родимый! Мой тёплый комочек.
Оказался с врождённым недугом сыночек.
А затем, как подрос он, о, солнце-светило,
от врача ко врачу я с сыночком ходила.
Говорили: не плачьте. (Я с сыном в дежурке...)

Про Афган, про Чернобыль, бросая окурки.
Помню, как я бежала в аптеку под утро,
чтоб лекарство купить, ног не чуя, как будто...
Мои тонкие ножки, почти что синичьи
исходили полмира, ища, кто обидчик?
Иль Чернобыльский Гоголь? Иль тюрка волчары?
Мой сыночек, клялась я, мы вытравим чары.
Мы в купели покрестимся Новгородской.
Мы в пылище искупаемся в ночь на Слободской.
На Ямщицкой ромахе мы да на анисах
возрастимся! Плевать мне на сок кок-сагыза!
Да в Уралах моих зацветут черемисы,
да в Якутиях снежных забредят маисы.
Ах ты, турок-сельджук, гагауз ты волчиный,
как ворвался ты в гены мои, неотмирный?
Половецкое чудище! Выморок жабий!
Я целую сыночка, я вою по бабьи.
Прижимаю. Ласкаю. Я голову глажу,
его тельце обвив по-синичьи, лебяжьи.
Ничего, ничего, всё поправим, любимый,
а глаза мои ест соль горячего дыма.
Иногда на луну выть мне хочется... Я же
в Спас молюсь. В Спас крещусь.
Становлюсь всё отважней.
Не хочу я искать ни вины, ни обиды.
У других ещё хуже, сложней – плазмоциды,

у других ещё хуже – рак, немощь и спиды.
– Доктор, доктор, скажите... Стучусь, как синица.
Становлюсь словно ток, что по венам искрится,
двести двадцать во мне, что помножено болью.
А я мать – прирастаю своею любовью.
Если жизнь я смогла перелить свою в сына,
значит, больше смогу. Ибо связь – пуповинна!
И кометой взовьюсь в Галилеевой пасти!
Стану пеплом у сердца, как в песне, Клаасней.
Сорок неб изгрызу. И созвездий полярных.
Помоги ему, Господи небесноманный!
Из невзгод всех достань сына да из напастей...
* * *

...всем хлеба – нам хлеба,
всем пальба – нам пальба,
всем мольба – нам мольба,
всем гроба – и нам так!
Ибо русскость, что крест, Богородичный знак
в пряном сердце, в глубоком, палящем живом!
Не закрытым дубовым (хоть надо!) щитом!
Снег метельный колюч, ветер знойный шершав,
на лугах васильки, гори-цвет, черемша,
русский говор на «о»,
русский говор на «а»,
русский корень запрятан в тугие слова.

Он в тебе и во мне, он сквозь нас и сквозь всех,
космос жаркий пробил, Богу в сердце проник,
это мой русский люд в жерновах русских вех,
это млечная вечность – мой русский язык!

Я в потоке одном и к плечу я плечом,
тот, кто к нам с пулемётом, огнивом, мечом,
тот, кто с пульей, стрелой, камнем и кирпичом,
тот напрасно, зазря. Тот совсем – дурачьё.

О, не надо к добру кулаки пришивать,
о, не надо к хорошему, светлому – нож
заострять, наточив. В нас издревле жива
память хлещущая, всё равно не возьмёшь!

Русский люд, я с тобой, я в тебе, за тебя.
русский люд – это выше и дальше, он – путь.

И на плахе я буду вопить: «Ты судьба!»,
и на казни я буду молить: «Рядом будь!».

Нынче я у высокой, кремневой стены,
мы – наследники красных титанов – вольны,
мы едины! Как сталь, вещей мы монолит,
а сейчас всё кровит, все безмерно болит.

А сейчас: то разор, то резня, то дефолт,
словно льдину ломают.

Под воду ушёл
самый лучший, бездонный, любимый кусок,
чтобы слёзы унять, где такой взять мне платок?
Атлантидовый край мой! Начало, исток!

Родниковая ты, ты Хрустальная Русь,
о, обнять бы тебя!
Оглянуться боюсь...

* * *

...О, подруга моя! Свет моих ты очей!
Я спасаюсь тобою, сомкнув крепь кольчуг.
Я открыта тобой для огней, для лучей.
Вот тебе бы сказала, как Ветхий Завет
на тишайшей странице открыв: «Не предай!»
Уцелей в этом сонмище выюг и планет,
не болей, не исчезни, ты – светоч мне, рай.
Я с тобой улучшаюсь. Светлею. Свечусь.
И стремлюсь. И учусь быть плечом я к плечу.
Все другие знакомые лишь. Не друзья.
Все другие приятели лишь. Где же взять
мне доверия столько? Для крыльев – размах?
Чтоб к вершинам ползти в ледящих горах!
Я для них вся чужая – для выгод, штрихов,
я для их обсуждений нарядов, мехов,
свитеров, вечеров и плохих женихов.
...Мне подруга нужна для иного – Голгоф.
Для того чтобы гвозди – с ладоней моих,
чтобы прочь все кровавые раны, всё зло,
чтоб дотягиваться до высоких молитв,
чтобы ношу поднять, если мне тяжело.

Да, я – странная женщина, как НЛО,
сталь-хрусталь, из Богемии словно стекло.
Но хочу я подругу, чтоб было светло.
Чтобы было надёжно. Христово. Тепло.
Я такая сама, словно тёртый калач.
Сердце, кровь забирай. Но живи. Но дыши.
Я на выручку ринусь, услышав твой плач,
Я – жилетка, коль надо поплакать в тиши.
Остальное не дружба. А так, пустячок.
Но по всем я скучаю во всю, горячо.
Я скучаю по той, что меня предала.
И по той, что лгала. Той, что я не мила.
Не могу разорвать ни квадрат я, ни круг
этих недоподруг. Недосолнц. Недовьюг!
... Что хочу доказать я – глупышка, дурьё?
Коль блондинка – профессия мне навсегда.
Боже, как я измучалась! Боль меня пьёт,
допивает до дна, до берёз изо льда.
Я для боли – питьё. Я для боли – еда!
Завтра утром проснусь, вся подушка в слезах.
Вся – горячая – я. Всех простившая – я!
И опять – по грибы. Да под небо. Под взмах
бытия!

* * *

Всех не любящих меня, люблю! Люблю!

Всех не любящих меня, благодарю я!
Дай мне руку эту гордую твою:
нынче я, как продолжение поцелуя!

Нынче я, как продолжение любви
этой детской, Божеской, вселенской!
Ты мне сердце стрелами кормил,
жизнь мою давил в кисель повидл,
словно мякоть яблок Карфагенских!

Словно виноград меня – в вино,
под ноги! Плясал и хохотал ты.
И хрустели косточки, где дно.
В колыбельке плакало зерно,
прорастая сквозь асфальта гальки,
книг твоих ненужных через свалки,
кости мои битые, сукно.
Левой, правой – щёк не жалко мел.
Рук не жалко для твоих гвоздей мне!
Сорок неб в груди сожгла своей,
истерзала снег белым белей
не в раю, не в парке, не в эдеме!
Ничего теперь не страшно. Бей!
Коль теперь я доброго добрей,
русской сказки дольше, где Кощей.

Ты кричишь «аминь», а я «прости»,
намывая фразы из горсти,
из чистейших, из хрустальных, из
нежных лилий да из ран святых,
смыслов, рун, объятий, лунных риз.
Синяки-ушибы мне – цветы,
переломы – это смысл расти,
перемалыванье в жерновах,
в мясорубках, гильотинах, швах
для меня не фобия, не страх.
Для меня всё это – есть любовь.
Я срastaюсь из своих кусков,
островов, земель, морей, песков
для иных бесценнейших миров!
В антологию предательств мне твою
не попасть. Ты имя перережь
острой бритвой. Баюшки-баю,
пред тобой без кожи, без одежд.
...Но люблю!

* * *

Моё мировоззрение. Я не могу от него отречься.
Могу лишь растечься рекою в него.
Моё мировоззрение, как дом без крылечка,
скала отвесная, накипь снегов.

Как вена рваная в него плещет память.
Вспоминать больно. Не вспоминать больнее стократ.
Если бы живую была, что сказала я маме
про то, что случилось, и кто виноват?
Что продан завод. Разорён комбинат.

Я слова свои беру – выкорчёвываю.
Но остаётся основа, позвоночная кость,
из которого весь образ, как белым по-чёрному,
словно в ладошку гвоздь.
Так в меня моё мировоззрение вточено!
Ввинчено, вбито, вколочено. Я и сама уже – в клочья.
И сердце – в ошмётки, в куски.
Но слышится дальше: «Доченька,
не предай! Сохрани! Не разбей от тоски!».

Божьих заповедей – десять.
Материнских – вся жизнь.
Моё мировоззрение – мой панцирь.
Я его отрастила, как песню.
Я его обточила до призм,
до космических, звёздных субстанций!

Мамочка, мамулечка. Я за него держусь.
Я – над бездной. (О, не сорваться б!)
А руки соскальзывают. Ветер пронизывает. Хруст

слышится пальцев. Захожусь, словно в бешеном танце.
Не отрекись! Всё равно не прогнусь! И не сдамся!
Ни власти. Ни горю. Ни бедам. Ни улице!
«Глагол с глаголом – кричу – не рифмуется!
Участие в конкурсах – преступление!
Не надо медалей. Ни грантов. Ни премии!»
Моё убеждение. Мироззрение
превыше всего. Не уйти. Не укрыться.
Не выскрести мне из себя, словно принцип.
Оно приросло, словно к коже рубаха.
Я слышу, хотя я оглохла до Баха.
Я вижу, ослепнув почти до Бочелли.
И не отрекись на кострах. На расстреле.

Родная моя! Моя лучшая в мире,
не бойся, о, мама, мне ноша – не гири!
Не тяжесть земная! Не камень. Не плаха.
Воззреньё, как мироззреньё. Пареньё.
Как миродареньё, как миротеченьё.
И денно, и ночью моё продолженьё.
Свеченьё. Сраженьё. И смерть и рожденьё!
Спасеньё!

Эта песня тебе, моя дочь! О тебе. И огромной

материнской любви, что размером с безудержный космос.
Наставленья бы дать! Оберег бы сплести. Так бездомно
без твоей мне поддержки. Скажи, отрастила ли косы
ты, как я, что до пояса? Как я хочу, чтоб бесслёзно
прожила свою жизнь ты. Мужчины – они так несносны.
Я-то знаю, как счастье становится зверем с когтями.
И предательство знаю, и отблеск его смертоносный.
Я сама так бродила дорогой, тропую, путями.
Нет, такого рецепта, чтоб не ошибаться. Соломки
подстелить, но, увы, от соломки-то легче не станет,
от перинки, матраса. А панцирь в душе слишком ломкий.
У меня бьётся пульс по тебе, как лягушка в сметане.
Это лучшее время, когда ты была здесь, под сердцем,
это лучшее время, когда ощущаются марсы.
Марсианский ребёнок мой! Ты галактических терций.
Не сдавайся!
Никогда. Ни за что. И по-царски взирай на мытарства.
Я сегодня твои сарафанчики, юбки и книжки
разбирала в шкафу. О, какой он большой и скрипучий.
Мои пальцы касались, как будто кожи подмышек,
молоко в них и пряжа льняная! И творог сыпучий.
И веление шучье. И сказка. Емеля-дурило.
Сколько я пролила по тебе этих слёз крокодильих.
А точнее по себе. Оттого, что ты не понимала,
как опасны плохие компании, юноши-лалы.
Говорят об одном, ну а сами-то, сами-то... «Нет же!» –

я кричала тебе. Я просила. Но, видимо, мало
у меня было слов. Только сердце одно дребезжало,
рассыпаясь в одну невозможную, терпкую нежность.
Помни! Я тебя жду каждый день. Каждый век. И столетье.
Динозавром планеты. Кометой Галлея. Когда вдруг
станет трудно дышать, заколеблются стороны света,
буду я этой кромкой,
к тебе простираясь из радуг.

Лоле Льдовой

Всякое лыко в строку – бери, люби.

Лыко – оно, как шёлк дерева разных пород.

Мякоть его из ложбин, лип и тугих рябин,
лыком мой пахнет мир: город, метро, завод.

Каждое лыко в строку – горы, поляны, лес,
кнопочный телефон, сенсорный телефон.

Быть бы такой всегда: шёлк, добродушие, лесть.
ласковую ладонь, чтоб на любую жечь,
чтобы любой охламон, словно бы Купидон.

В каждую мне строку – лыко. И в звёздный ряд
вплавленное зерно. Мёртвые не прорастут
строки! Когда болят,

строки, как виноград

венной идут стихи, словно бы самосуд.

То и гляди: рванут!

Лыко, что тот тротил,
мощность и плотность, состав: выдернет потроха!
Кто же тебя любил, девочка, кто любил?
Тельцем скукоженным ты – лыковая уха,
каждое лыко в строку, лыка теперь вороха...
Нынче Москва тиха.
Питер в дождях-слезах.
Как же так? Тельцем – швах
да с гильотин и плах.
Если же выбирать между двух городов,
или собой скреплять: рёбра, лодыжки, графу,
ты – мост! Из двух рядов,
ты – мост, скелетик в шкафу.
Девочка! Как же так? Кто же собой пустоту
после тебя займёт? Здесь или там. Или тут?
Нет у талантов таких. Рвутся иные. Они
не в глубину растут. И не в себя умрут.
Вечность тебе. Им – дни. Неким секунды – красны.
Девочка, а тебе город весь красным струил.
Нет у меня больше сил
с костным бороться. «Дебил,
дура, и блудь, и плуть!» -
выкрикнуть бы! Изрыгнуть!
Но я в себе давлю чувства. И лгу всем, лгу:
каждое лыко в строку.
Лыком свернулась петля. Девочка...птичка моя...

Карлсон не прилетит, чтоб не ушибла земля,
птичий скелетик твой, лыковую строфу.
Ты заслужила лафу.
Знаю, зачем я нужна! Знаю. И буду знать!
Всем, кто талантлив, я – мать!
Всем, пережравшим руна,
перенасыщенных в кладь, мне защищать, страна!
Лыко тебе в строку.
Если пригвождена.

О, как жарко! Пылает. Искрится. Кровит.
Невозможно не плакать – горит Нотр-Дам.
Это сердце Парижа горит от любви,
это сердце – звучащий оргАн!
Нотр-Дам. Нотр-Дам. Нотр-Дам.
Нотр-Дам.
Сколько раз разрушали тебя! Сколько раз!
Сколько войн повидал ты (прости, что на «ты»!).
Целовать бы. Оглаживать камни. В экстаз
приходить от шершавых зазубрин.
Прости...
А на утро сбежались актрисы, шуты.
А на утро шестнадцатого ровно в шесть
был потушен пожар. Под золою пласты.
Неразумным, заблудшим нам выть в небеса.

И грозиться огню, прогоревшая шерсть
у него, лисий хвост, рыжей Жанны коса.

Во все звёзды – порез.

Ты успел сделать селфи, пока падал свод?

И подломленный шпиль умирал, словно Дюк?

А меня аритмией изорванной бьёт

изнутри! И штормит меня бабий испуг.

О, как мало спасенья!

О, как мало рук!

Нынче враг – это больше, чем пламенный друг.

нынче друг – это больше, чем пламя врага,

Понимает ли мир, что планета хрупка?

Всё, что предки хранили: сторит с полщелчка!

Вот и память повешена, в небе петля...

Невозможно начать нашу землю с нуля,

с демонстраций,

с майданов,

протестов,

с совка.

Первый день Конца света. Запомни число.

Прогорело до ребер собора нутро.

Между рёбрами тонких полосок дымы,

между ними горгулье искрится ребро.

Потерявший, молчи! Из дырявой сумы

выпадает реликвия. Космос багров.

Кто кричит про диверсию, кто про теракт,

кто кричит про окурок, про провод, про шлак.
Стой, народ! Не об этом оно, о любви
не взаимной. Звони, Квазимодо, зови!
Ещё раз!
Ещё громче!
... И лишь уголёк
прогоревшего сердца трепещет у ног.

Не выдохнуть. В горле крик. Крика много.
Одно желание протиснуться за ради Бога
того, Кто на кресте. О, Сыне мой, Сыне!
Его грудью кормила. Качала. А ныне, ныне
вокруг разбойники, нищие, проститутки, калеки
и века. И бессмертье. И горы. И реки.
Все толпятся вокруг... Как его целовала,
где затылок парной. Пропустите. Здесь – мама...

Пелена пред очами. Кричит. Крика много.
Им затянуто горло. Все лёгкие. Сердце.
Вот разъять бы ей звуки до чистого слога,
вот растечься бы ей в полотенце,
чтобы влагу со лба утереть, кровь с ладоней.
Вот бы стать этой тканью, обёрткой для тела.
Милый Сын – воскресающий! Божий! Мицелий
для планет всех!

Кого мы хороним?

Мать припала к увядшему. Холодно. Зябко.
И дрожит, словно зяблик.

А в бездонном, бессрочном, огромном, безмерном
небе – зерна и звёзды, и света цистерны.
Так и льётся и льётся рассветом, окраской,
скоро – Пасха.

В меня целится – я вижу его! Он притаился! – снайпер!
В его окуляре я: в куртке, джинсах, кроссовках!
В небе – белая птица, наверное, чайка.
Это небо последнее! Но мне как-то неловко
обращаться к нему! Небо – на подстраховках!
Оно было, когда я в него родилась. Здравствуй, мама!
Ты меня ещё держишь своей пуповиной?
Она бело-прозрачная, что амальгама.
Фонтанирует. Вся из тугих парусинов.
И поэтому море вокруг меня плещет.
Это – околуплодные спелые воды.
Мы – рождённые, всё состоим из тех женщин –
журавлино, невинно. О, грех первородный!
Тех, кто были до мамы. Они в наших генах.
И они внутримышечны и внутривенны.

Снайпер! Значит, и в них ты прицелился тоже?
И в ребёнка, который в утробе под кожей,
моего притаился напевного чрева.
Оно рдело! Любило! Желало! И пело
в ночь с любимым! Его помню сильное тело.
Значит, целишься ты и в него? В Русь? И правду?
Поздно, поздно вопить мне: «Не надо! Не надо!»
Пуль разрывы вокруг. Стон. Пожары. Снаряды.

Мне – прожившей полжизни, мне – видевшей небо,
мне – целующей звёзды, их льдистые скрепы
неужель затаиться? И Армагеддоны,
так вопят... Фонтанируют. В Зайцево – храм мой.
Я иду помолиться, прикрыв грудь и лоно.
Моя старая мама, и тётка, и братья
там живут, за чертой. Как прикрыть их синхронно?
Вы там не были!

В каждом кусте и травинке
не цедили вы детство, на этой тропинке
не пасли вы козу, белошерстную Майю!

Хорошо рассуждать про загадочных майя,
про кино, про правителей. Деньги и власти.
Да хоть сердце не застыте! Не рвите на части
про весну ту, что в Крыме. Про Минск. Там Иуда

щёки, спины целует! Война, как простуда
для того, кто поодаль. В глуби. За лесами.
Я иду. Продираюсь. Мне к тётке и маме.
Пробираюсь сквозь время (О, как мне Коньбледно!)
Продираюсь сквозь лемех, орало. Бой длится!
Нескончаемый!

Разве вам тел наших мало,
что зарыты вот в эти поля цветом ситца?
Лязг затвора. Мой снайпер – мой враг. Помолиться
успеваю, пока не нажал на курок он.
...А малыш, что во мне, мог бы радостно чмокать,
в колыбельке лежать мог бы он краснощёко,
потаённо, глубинно, тепло, светлооко!
Богатырь мой вселенский. Он смог бы. Он смог бы
защитить нашу землю. И небо. И птицу!

Всем выгнутым телом прижаться к скале,
к её каменистому зеву, к шершавым
натруженным пальцам, сливаться во мгле
с гранитом её, с разнотравьем, с металлом.

Во мне Прометей словно канул на дно.
Я – людям огонь раздарила всеядный,
его поглощающее полотно,
где кроме него, ничего и не надо!

Земля предо мною! За мною! Со мной!
И в сердце земля! Как она обнимает.
Целует. Льняная моя, гвоздяная,
песчаная, глинистая и родная.
И я к ней прикована этой скалой –
которая вжалась в меня и вцепилась,
как будто в дитя с материнскою силой,
как будто в любимую женщину – милый,
была я – рисунком на скальном живом,
была Прометеевым жаром благим,
была Прометеевой печенью, сердцем,
которое рвали орлы-громовержцы,
да что мне все птицы – вороны, орлицы,
кукушки, сороки-воровки, синицы:
они, словно карлики в мантиях тесных
мечтают мой выклевать контур разверстый.

Я, как Прометей... Вот лежу я в больнице:
во мне перелом скреплен тонкою спицей.
Мне жарко. Натужно! Недужно! Кромешно!
О, хоть бы глоточек воды, горсть черешен,
щепотку китайского чая с жасмином,
ещё эсэмэску о друге любимом!

Лишь только усну – мне скала в море снится,

века мои, земли – исклёваны птицей
и что надломились в костях моих спицы.
Но я всех прощаю! Старух этих, бабок
о, как бы не мой Прометей во мне! Как бы
не эта история. И не больница
ужели смогла бы я так поделиться
всей кровью моей, всем огнём, всем причастьем,
бинтами в крови, кучей порванных тряпок,
смогла ль над морскою нависнуть я пастью
над этой акульей, дельфиньей и крабьей?

И столько огня раздарить: сотни, тонны
по максимуму: ничего или всё им!

Если хочешь делиться на мир и войну – не делись!
Это так больно, когда в твоём теле созревшие раны
жаркими букетом цветут – роза, кашка, ирис.
Бьют барабаны!
Гуленьки-гули! Давай отмотаем в другой
век! Даже в эру другую, где звёзды в ладонях:
спамит Гомер. Спамят греки. И грезит приборой.
Троя – на месте! И мир ещё ветрено-сонен!
Всем эмигрантам не выдали виз. И Парис
жадный до нег, до жены самого Менелая,
где-то в бесчисленных дебрях провис и завис,

«Зевс» – это общество в пользу защиты трамвая...
О, наши войны Троянские! Голод, разруха, пожар!
Пахнете жадной наживы вы, кровью и потом!
Мы не убиты ещё! Но поранены. Сед, млад и стар.
Свой – свояка. Брат – на брата. И скачут галопом!
Где этот горный и где этот чистый был свет?
Где эту тьму вы черпали из нор да из схронов разверстых?
Мы разделились. Кричал я, вопил я вам вслед:
– Целостным будь, монолитным!
В душе – Ахилесным.
Кто в слепоту раздробился. А кто в глухоту.
Сколько история раз упреждала, учила.
Не научила! Какой мармелад там
во рту?
С порохом злато. И деньги с проёмом тротила.
Что там за рифма: дышу-напишу-отомщу?
Что за слова: захотел-угорел-выстрел в спину?
Что там, в котле подавали, какую лапшу?
Вместе с обглоданной коркой кидали в пучину!
Ты за кого, о, Елена Троянская? Или же ты
тоже распалась на тронутых и продающих?
О, не твоё ли последнее тело впаялось в мосты,
Чесму проедешь – ты шёлком заверчена тушей?
Нет, не твоё! Там кочевница, гордая мгла.
Нет, не твоё! И слова там иные, молитвы.
Ты – это поле! И ты это небо взяла,

словно бы мужа. А после – разбилось корыто!
Всё сокрушилось! Разъялось!

.....
Особенно мне

жалко вот этого – в ноги паду я! – ребёнка!

Руки, как крылья тяну, что расшиты во льне!

И – ко груди! Ему холодно!

Лишь рубашонка,

ткани кусок на измазанном тельце золой.

Если украсть бы у всех матерей – нежность, ласки!

Слёзы! О, маленький! Ты – сквозь эпохи – постой!

Всё-таки рухнула Троя!

И стянуты, сорваны маски!

Сквозь все столетья, о, как мне прижать бы дитя?

Чтобы кормить, пеленать! Это – лучшая кража!

Ты – эгоист, злой Парис, ненавижу тебя,

в наше бы время ахейцы-отцы, с ними я же,

плюнув в лицо, отвернулись! Метатель копья –

ты в наше сердце попал, как подкупленный снайпер.

Вот она кровь. Вот война. Пала Троя моя

в стоны распятий!

«Так сходят с ума, – повторял Вронский...»

Из романа Л. Толстого « Анна Каренина»

...роман весь целиком, роман весь в шрамах,
особенно когда в последней сцене,
вот если б ты любил земным всем шаром
вот если бы. Ни более, ни менее.
Вот если б всей душой, вот если б, если б...
Но, Анна, Анна, разве так бывает?
Давай подружиться, попробуем всё взвесить,
тогда под поезд ни к чему, ни под трамвай!
Из двадцать первого я века восклицаю,
из двадцать первого я века, где зима и
такое ж общество! Бомонд. Твит. Фээсбуки.
Сеть социальная. Имущих власть, имевших.
Препоны, губернаторы, ЖЭК, Дуки.
Разочарованные! О, как много женщин
не то, чтоб бескультурных. Но в культуре.
Не то, чтобы бездарных, но почти что!
Из двадцать первого я века, как де-юре
и как де-факто, говорю, что больно слишком!
О, если б, если б этот самый Вронский
да с пересчётом ровно на два века:
вот также бы в любви водоворонку
увлёл меня б румяную от снега!
Увёл. Уговорил. С пути содвинул.
Убил бы память. В сердце – медь с шипами!
А сам бы, не дай Бог, как дворянину, –
война ж кругом!

Нельзя остаться, – в спину
ему б кричала, кинувшись: «Я с вами!»
О, милый, милый! Родненький! Любовник!
Терновник! Слива-ягода! Остайся!
И – тело под ноги ему б своё смоковое,
и груди белые ему бы, уст багрянцы!
О, если б я была Карениною Анной!
Безмерною, ревнивой, бесшабашной,
непризнанною обществом, незваной
на бал, на скачки, где Фру-Фру изящна.
В извечном, приятном, непогибшем смысле,
где мир весь-весь на гибких, скользких плитах.
О, если б лучшей женщиной! Чтоб письма
читать любовные, не эсэсмески. Титул
носить «её сиятельство», сиять бы
и не померкнуть! Несгоревший ужин,
не выходить из этого романа,
не выходить из этой недосвадьбы,
не выходить, где луч до боли сужен.
Да что там луч? Из фобий, страхов, маний,
из жёрл, помолов, из петель вокзалов,
из всех ролей, театров и антрактов!
Лишь только слышать: как там дребезжало
всей нотой «до» простуженного такта!

Шах и мат

Это можно понять лишь израненным сердцем,
перештопанным вдоль, поперёк, во всю ширь.
Например, как авгуры, латинское tectum –
раздвигали пространство, объёмный эфир.
И ложилось им небо под ноги... О, надо ль
неразумных наказывать, спутанных в лжи?
Мы-то видели, рухнула как анфилада,
и кирпичная кладка сложилась горбатой,
словно гроздь виноградная смялась... Лежи
грудой «Апофеоза войны», как «Купанье
в красных реках коня». Вот теперь умиранье
много ближе...

Кому мы доверили жизнь
после этих лихих и стальных девяностых?
Скупердьям, стяжателям, блудням, прохвостам?
А Дом Троицкого, что был на Пискунова
с его крышей игорной и дверью-подковой
разорили сначала, продали, снесли,
довели до полнейшего краха! Был повод,
чтоб продать подороже участок земли
для директора рынка в пылу беззаконий!
О, как низко ещё мы падём!
Как уроним
мы реликвии наши в грязи и пыли!
Отвечать будут кто? Дети? Правнуки? Ибо,
как ответить за жадность,

за зло,

за погибель?

Этот шахматный дом сбережённым был в голод.

Этот шахматный дом сбережён был в бомбёжку.

Этот шахматный дом сбережён в красный молох.

Лишь авгуры с усмешкой глядят из-под чёлок
на окошко:

– Да, когда ж вы натешитесь, толстое брюхо

да когда ж вы набьёте, доверху карманы?

Мне-то что? Я – давно городская старуха,

я привыкла, что вместо культуры порнуха,

я привыкла, что всюду косуха да шлюха...

Но как можно доверить авгуров барану?

Вам не странно?

У меня с этих пор там, где сердце багряно,

просто рана...

Мне не страшно уже ничего: пули-дуры,

обвиненья, предательства, камни в затылок!

Ибо дом заповедный снесли, где авгуры

раздвигали пространство... О, бойтесь ухмылок

заповедных жрецов! Нестерпима утрата,

значит, мы не достойны, коль было изъято,

ни распятия Божьего, ни то, что свято.

Ни страны, где была богатырская сила.

Не достойны ни рая, ни райского сада.

Мимо, мимо

уплыло.

СЛОВО О ГОНЧАРЕ

Что ты цедишь слова, как сквозь зубы, рот сузив?

Где гончар, чтобы миг этот переваять?

Где гончар, коли держит он войлок, убрusy там, где мягкое с твёрдым, где ткань бытия!

Вот он держит на талии пальцы тугие,
выплетая весь мир (я прошу, помолчи!),
перед небом исплачутся души нагие,
братья-сёстры начально все мы, не враги, и
я зажгу для тебя три церковных свечи.

На колени!

Ползком.

Рыбьей спинкой, стерляжьей
прислонюсь к небесам:

– О, для неба нет злых!

Есть больные, грешащие...

Все в землю ляжем.

Одинаковы все! Смоляные котлы
для любого сготовлены! Нет там халвы
и сгущёнки, и масла с духмяной икрою.
Не являюсь для неба – ни стервой, ни злою.
Гончару – все мы глина из вязкой земли!
И на плахе планет замыкается кругом,
маховик на оси крутит он с перестуком,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.